

КНИГА ЗА КНИГОЙ



И. Миксон

ОТЗОВИСЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"



И. МИКСОН

ОТЗОВИСЬ!

Рассказы

Издательство
"ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
Москва 1966

Дорогой друг!

Эта книжка о войне, о том времени, когда твой отец, старший брат, дядя, твой сосед стойко и мужественно сражались за Родину против фашизма, против твоего врага, хотя тогда тебя еще и на свете не было. Тебе важно и нужно знать героическое прошлое твоей страны, подвиги отца и братьев. Знать, как это было.

Автор книги Илья Львович Миксон, военный инженер и писатель, сам прошел дорогу войны, и армейская тема стала основной в его творчестве. Он написал семь книг, но к тебе, юному читателю, обращается впервые. Поэтому эти рассказы, которые печатались для взрослых, он несколько изменил, чтобы тебе все было ясно.

Напиши нам, понравилась ли тебе книга. Адрес: Москва, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Рисунки В. Щеглова



О Т З О В И С Ь !

— «Зея!» «Зея!» Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Тихое, едва слышимое потрескивание, тяжёлый вздох, и опять настойчивое:

— «Зея», «Зея»...

Зея... Знакомое имя. Восточное. Зея... Гибкое тело танцовщицы в газовых шароварах, Дымчатый шарф. Танцовщица кружится. Никак нельзя разглядеть её лицо и обнажённые руки. Только волны шарфа, полупрозрачные, как редкий туман. Ритмичные удары барабана отдаются в голове. А туман всё кружится, колышется.

— «Зея», «Зея!» — устало зовёт простуженный голос:—Я— «Сура», я — «Сура».

Страшная сила рвёт в клочья зыбкий туман. Будто лопаются сверху донизу сотни нитей прочного шва. В разрыве — оранжево-белые всполохи пламени. Многоголосый гул, и частая дробь барабана. Непонятные выкрики, топот. Над самой головой захлёбывается автомат. Протяжный вопль, падение чего-то

тяжёлого, громыхание металла. И тишина, звонкая до боли в висках. Но вот снова размеренное:

— «Зея», «Зея», Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Медленно возвращается сознание. Ощупываю себя. Кажется, цел, но во всём теле тупая, ноющая боль. Пытаюсь вспомнить, что же произошло.

...Мы наступали на Жиллен, разрушенный хутор с единственным уцелевшим домом под островерхой черепичной крышей.

Пологая возвышенность, на которой стоял хутор, судя по топографической карте, господствовала в этом районе. Впрочем, листы карты Восточной Пруссии устарели, обнаруживались неведомые дороги и неизвестные населённые пункты. За пять минут до начала артиллерийской подготовки командир дивизиона пришёл к выводу, что мы уже в Жиллене, а дом под островерхой крышей впереди — что-то другое. То, что Жиллен уже в наших руках, радовало. Но знал об этом только наш дивизион, а «катюши» нацелили на Жиллен ракеты. Прямой связи с гвардейцами у нас нет. Радировать в полковые штабы не имело смысла. План артподготовки исходил из армии. Разве туда добраться по эфиру за пять минут до боя!

Нас не накрыли: «катюши» всё-таки сыграли по немцам.

Когда изломанную цепочку второй роты отделяла от дома с островерхой крышей сотня метров, я с разведчиком Лариным и радистом Шкелем ушёл вдогонку за наступающими. Из старого наблюдательного пункта корректировать огонь стало невозможно.

Вместо крыши на доме чернел скелет из стропил. Черепица обрушилась, и вокруг дома снег казался пропитанным кровью.

В пустой комнате с голыми проёмами окон сидел на полу пожилой лейтенант в ватном костюме, измазанном глиной и извёсткой. Он звучно высасывал мёд из большого куска пчелиных сотов. В углу девушка в шинели бинтовала голову раненому солдату.

— Ну как? — отдышавшись, спросил я лейтенанта, командира роты.

Покряхтев, он разломил медовую плитку и, протянув мне половину — угощайтесь, пожалуйста, — равнодушно кивнул на

окно. Я взялся за бинокль, но в нём не было нужды. В каких-нибудь трёхстах метрах на опушке леса пофыркивали сизыми выхлопами две самоходные пушки с мужским именем «фердинанд». Под их прикрытием залегли немцы,

Шкель возился с радиостанцией; у него что-то не ладилось. Появился куда-то исчезавший Ларин:

— Товарищ старший лейтенант, подвал здесь — чистый дот!

Я отмахнулся и заторопил радиста.

— Питание село,— отозвался Шкель.

Он предупреждал меня ещё вчера; мы наступали восьмые сутки. Как тут напасёшься свежих аккумуляторов!

Ротный тоже не имел связи. Оба телефониста, тянувшие кабель, погибли. Ждали радиста командира батальона.

— Что делать будем? Пэтээры есть? А противотанковые гранаты?

У ротного не было ни противотанковых ружей, ни гранат. Определив на глаз местоположение самоходок, я набросал несколько слов на листке из полевого блокнота и вручил его Ларину:

— Бегом!

Разведчик исчез.

Немцы, чувствуя безнаказанность, продвинулись метров на двадцать, затем ещё на десять. Их гаубичные батареи бьют из-за леса через нас, отсекают второй эшелон.

«Проберётся ли Ларин?»

«Фердинанды», взревев моторами, осторожно поползли вперёд, выставив длинные стволы с лапчатыми набалдашниками дульных тормозов.

— Сейчас начнут,— замечает ротный.— Метко бьют негодяи. У них, говорят, оригинальные прицельные приспособления. Не слышали?

— Стабилизированные,— отвечаю я невнятно: рот забит пахучим воском и мёдом.

Раненный в голову, мучительно заикаясь, жалобно тянет:

— Сестрица, унеси меня отсюда.

— Раненых эвакуировать! — распоряжается ротный. Его измятое бессонницей и окопной жизнью лицо с чёрной в блё-

стках щетиной на миг становится печальным и серьёзным, но тут же глаза с красноватыми веками загораются любопытством.— Как это — стабилизированные?

— Связь пришла! — кричит кто-то.

Появляется рослый пехотинец с зелёным Ящиком радиации за спиной.

— Разворачивайся! — коротко приказывает ротный.

— Лучше спуститься ему в подвал,— советую я, наблюдая за «фердинандами».

Они остановились, выжидая перед последним броском.

Ротный соглашается. Прошу его временно подчинить мне радиостанцию. Шкель передаёт радисту свою табличку с позывными.

— Так что значит — стабилизированные? — допытывается ротный и подаёт мне второй кусок мёда.— Угощайтесь, пожалуйста.

— Стабилизированные — это...

Со свистящим шипением, прерывчатым, булькающим, высоко над нами летят снаряды. «Наши!» Выглядываю в окно. «Фердинанды» возобновили движение. Отчётливо звякают гусеничные траки.

На лесной опушке взлетают кустистые разрывы. Ларин пробрался, но поздно, а коррективы передать некому.

— Товарищ старший лейтенант, «Зея» отвечает! — докладывает в дверях Шкель.

— Прицел меньше четырёх! — кричу я в ответ.

— В подвал надо, товарищ старший лейтенант,— виновато дёргает маленькими усиками Шкель.— Это пехотинец настроился.

Пробежав две комнаты, выскакиваю из дому и сразу нахожу глазами чёрную дыру в подземелье. Наклоняюсь над ней.

— Передавайте: «Прицел меньше...»

Грохот и лязг заглушают команды.

— Отставить! Огонь на меня! Огонь на меня!

За спиной гремят пушки, и тотчас черное и красное ослепляет меня, упругая волна толкает в бездонное ничто...

Да, теперь я всё вспомнил. Глаза постепенно освоились с

мраком. За толстым бетонным столбом виднеются освещённые каменные ступени, в самом низу застыли трое гитлеровцев. На светлом прямоугольном пятне валяются немецкие автоматы.

Незнакомый простуженный голос продолжает вызывать «Зею».

Я не вижу лица радиста, видна только шапка на голове в пульсирующем ореоле сигнальной неоновой лампочки. И матовые блики на коже автомата, что лежит у него под рукой.

— Отрезали? — спрашиваю я, с трудом расклеивая губы.

— Очнулись? — веселеет радист и вдруг, схватив автомат, выпускает скупую очередь по ступеням лестницы.

Сверху доносятся выкрики и ответная пальба. Пули высекают искры, брызжут цементными осколками.

— Тут какой-то фон фриц лежит, — объясняет радист. — Всё достать хотят, верёвку с крючком забрасывали. — Он хрипло смеётся. — А я его ещё дальше оттащил. Может, они, гады, из-за него и нас не взрывают, а?

— Может... — Разговаривать трудно, в голове продолжает стучать. — Воды нет?

— Нет. Что было, вам спойл.

Пустая фляга с шумом катится в темень. Сразу же сверху гремит автоматная очередь.

— Так нас и взяли! — смеётся радист. Он, видимо, истосковался в одиночестве. — Никак не свяжусь, — говорит он со вздохом. — Первый раз отозвалась ваша «Зея», а потом как оглохла.

Он начинает покачивать лимб.

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

У меня пистолет и две почти полные обоймы, четырнадцать штук.

— Как с боеприпасами?

У радиста не более половины диска к «ППШ», но есть немецкий автомат с пятью магазинами. Кроме того, у входа лежат ещё три таких автомата. Переворачиваюсь на живот и ползу за ними. Радист останавливает:

— Ни к чему. Когда стемнеет...

Разумно. Наладив автомат со стальным рамочным прикладом, слежу за входом. Гитлеровцы, видимо, и в самом деле не

хотят подрывать нас из-за трупа «фон фрица», как выразился радист. Осаждающие пока ограничиваются автоматной стрельбой. Экономя патроны, мы отвечаем одиночными выстрелами или короткими очередями.

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Мы заняли дом с островежкой крышей около десяти утра. Сейчас, наверное, часов пять. Поднёс руку с часами к глазам — ничего нельзя разобрать, приложил к уху — тихо: разбились, когда летел в подвал. Отстегнув ремешок, отшвырнул часы в сторону и едва сдержал стон от острой боли в плече.

Нет, не вывих, ушиб. Тогда ничего, обойдётся.

Всё же который час? У радиста часов нет. Были трофейные, штамповка. Поменял на детекторную лампу.

Сейчас около пяти: на пыльном цементном полу рваным прямоугольником лежит розовое февральское солнце.

Нестерпимо мучит жажда. Наелся по глупости мёду. Что стало с лейтенантом? Жив ли Шкель? Так я и не объяснил лейтенанту, в чём сущность стабилизированного орудия...

— Товарищ старший лейтенант, может, есть хотите? — Радист подаёт кусок чёрствого хлеба. — Ещё полбуханки осталось, но экономить надо. Когда ещё придут наши, неизвестно ведь. Верно?

Его хрипловатый голос чуть-чуть дрожит. Он понимает, что ни сам он, ни я не можем знать, когда придут наши. Они придут, обязательно придут. Придут, когда возобновится наступление в районе, именуемом на картах «Жиллен».

Прибодрить радиста, сказать «скоро»? Нет, не имею права обманывать. И нуждается ли этот храбрый солдат в утешении? Он меня спас, не я его.

— Верно, надо экономить.

— Есть! — весело отзывается радист, восприняв мои слова как приказ и уверенность в победе.

Шуршит вещмешок, куда он укладывает остатки хлеба, свой паёк, ставший с этой минуты запасом провианта нашего гарнизона — гарнизона из двух человек.

— Не удаётся? — спрашиваю я, показав глазами на рацию. Вряд ли радист видит мои глаза, но понятно и так.

— Никак.

И он снова принимается вызывать радиостанцию нашего дивизиона.

Тени на полу сгустились, уже не различается оружие.

Потонули во мраке тела убитых.

Слились ступени.

— Схожу за трофеями,— говорит радист.

Щёлкают тумблеры, гаснет сигнальный глазок.

— Пойду я,— говорю радисту.

Но он возражает:

— Я лучше запомнил, где что. В темноте загремите чем, сразу полоснут.— И, не дожидаясь ответа, он бесшумно крадёт к выходу.

Я отвожу затвор, ствол направлен на лестницу.

Через несколько минут радист возвращается с добычей. Теперь у нас четыре автомата и одиннадцать магазинов с патронами. Да мои пистолетные обоймы. Если немцы по-прежнему будут шадить своего «фон фрица», мы продержимся долго.

Опять заколыхался жёлтый свет неоновой лампочки.

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Пауза, и вновь:

— «Зея», «Зея»!..

Я подползаю поближе к выходу. Немцы могут воспользоваться темнотой и ворваться в подвал.

Взошла луна; рваный прямоугольник на полу стал короче, его голубоватый экран время от времени пересекает тень. В морозном воздухе сухо потрескивают одиночные выстрелы. Сапоги часового скрипят размеренно и громко. Пока нападения можно не опасаться.

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Моё внимание привлекает фосфоресцирующий диск. Протянул руку и наткнулся на окоченевший труп. Это часы на убитом. Снять их? Но к чему? Что могут сказать нам стрелки часов: сколько осталось ждать освобождения? Конца?

Часы показывали десять минут второго.

Раньше утра бой не возобновится: нашим нужно подтянуть резервы, сменить обескровленные батальоны первого эшелона.

Тень замерла посредине голубого экрана:

— Рус, сдавайся!

Автомат, как живой, забился в руках. Наверху проклятия. В подвал ударили трассирующие пули. И снова тихо, только скрип чужих сапог над головой.

— Товарищ старший лейтенант...

Стараясь не шуметь, обползаю за столб.

— Поспите малость, ну их. До зари не сунутся. Да и сторожить буду: может, дозовусь.

Он прав, надо установить дежурство. Снова ползу к выходу. За часами. Теперь они понадобятся.

Циферблат светится по-прежнему ярко, зеленоватыми дымчатыми зёрнами. Десять минут второго. Часы стоят. Стаскивать мёртвые часы с мёртвой руки? Нет. Обойдёмся без них.

— Как только захотите спать, будите.

Долго укладываюсь, ищу покойную позу, удобную для ушибленного плеча. В голове всё ещё стоит гул. В горле будто сухой песок.

— «Зея», «Зея», «Зея»...

Зея — река, приток Амура. Амур-батюшка. Амурские волны. Вижу их, огромные, седые, с белыми гребнями пены. Великолепные, мокрые волны!

— «Зея», «Зея»...

Мокрые волны. Мокрые — единственно, что я понимаю сейчас.

Под сводами подвала громом отдаются выстрелы. Сжимаю автомат. Но снова тихо, и я мгновенно проваливаюсь в тяжёлый сон.

Что-то мокрое упало на потрескавшиеся губы. Инстинктивно раскрываю рот и ощущаю воду, настоящую воду!

— Пейте, товарищ старший лейтенант. Нашёл всё-таки. Опять тот фон фриц выручил. Термос у него.

Товарищ, брат мой! Если мы выйдем отсюда!..

Заставляю радиста тоже выпить и приказываю отдыхать. Он охотно повинуется, а я стерегу его, пока серое пятно на полу не окрашивается багрянцем.

Мы съедаем по кусочку зачерствелого холодного хлеба, вы-

пиваем по три глотка воды. Опасаясь мороза, я всю ночь держал термос на груди под телогрейкой.

Немцы пока ничем не выдают себя, но я чувствую — скоро! Я занимаю позицию, а радист выкликает «Зею». Настроение у него бодрое, даже хрипота уменьшилась. Он повторяет одни и те же слова, но каждый раз интонация меняется: голос то сердится, то упраскивает, обижается, заигрывает, зовёт:

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Один раз вместо стандартного «приём» он крикнул:

— Отзовись!

Нужно иметь каменное сердце, чтобы не ответить ему!

Всё никак не спрошу радиста, как его зовут. Сейчас это, конечно, пустая формальность. Нас лишь двое: что бы один ни сказал, это касается другого. Больше отвечать некому. «Зея» молчит. Надо хотя бы разглядеть его лицо. Вчера, наверху, запомнились только высокий рост, шинель и зелёная коробка рации за плечами.

Над головой усиливается топот. Что-то затевается. Если бы нам гранаты!

— Рус, сдавайся!

Молчим. Когда на полу появляется тень, даю очередь.

Почему они всё-таки медлят расправиться с нами? Неужели из-за «фон фрица»? Нет, скорее всего, рассчитывают сохранить надёжное укрытие. О лучшем блиндаже и мечтать нельзя. Не успеваю подумать, как на светлое пятно падает круглая банка. Она несколько раз подплясывает, извергая чёрный смолистый дым. Выхватываю её из света и швыряю обратно, но банка снова скатывается вниз. Пытаюсь подтянуть её прикладом. Бьют автоматы. Громяхая по ступеням, скатывается вторая дымовая шашка. Светлое пятно исчезает, всё заволакивает дымом. Из глаз текут слёзы, душит кашель.

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Эх, «Зея», «Зея»! Не о помощи молим тебя. «Огонь на нас!» — вот чего мы хотим и требуем.

— «Зея», «Зея»!..

Длинные автоматные очереди. Искры от пуль в чёрном мраке.

— Рус, сдавайся!

Осторожно подкрадываюсь к выходу и, улучив момент, даю очередь вверх. На миг вижу блеск солнца.

Дикий вопль. Ага, попал! Что-то со свистом летит в подвал. Успеваю догадаться — граната. Валюсь на пол и прикрываю руками голову. Яркое пламя кромсает черноту. Эхо умножает гром разрыва. С потолка отваливаются куски цемента.

Протираю запылённые ресницы и открываю глаза. Видны ступени. Взрывная волна вынесла из подвала часть дыма. Дышать не легче: прогорклый запах взрывчатки щекочет горло.

Ты жив, мой товарищ, брат мой? Жив.

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём.

Теперь немцы попытаются спуститься. Вгоняю в автомат длинный стальной пенал с лакированными патронами.

— Рус!

Ни звука в ответ. На сером пятне тень согнутой фигуры.

Ниже, ниже, ещё ниже, в самый ад! Судорожно вздрогнул автомат, и чёрно-зелёное тело скатывается вниз.

Быстро прячусь за столб. Одна за другой рвутся гранаты. От едкого дыма взрывчатки нечем дышать. Сейчас я этим гадам устрою! Радист, наклонившись, как вратарь, становится вблизи рваного края светлого пятна.

Падает граната. Прыжок к выходу, и стальной цилиндр с длинной деревянной ручкой, подобно бумерангу, возвращается наверх. Взрыв, крики, ругательства.

— Приготовиться, — подаю сигнал радисту.

Повторяется номер с гранатой: смелый, ловкий солдат успевает поймать гранату и выбросить её обратно. Но немцы наверняка догадались, в чём дело, и, если среди них есть хоть один опытный фронтовик, следующую гранату ловить опасно: могут придержать перед броском. Хочу предупредить своего товарища, но лишь успеваю крикнуть:

— Ложись!

Он бросается за столб, но, кажется, поздно. Сквозь сдерживаемый стон — протяжное: «Га-ады...» Беззлбное, удивлённое.

Выпускаю длинную очередь. Теперь можно, всё равно не

расстрелять всего боезапаса. Подбираюсь к раненому товарищу, оттаскиваю его дальше в укрытие, туда, где стоит радиостанция:

— Задело?

— Ноги. И спине горячо...

Чем, чем я могу помочь? Ни лоскута бинтов. И что можно сделать в пыльной тьме! Перевязывать на ощупь ещё хуже.

— Вы не беспокойтесь, товарищ старший лейтенант...

— Какой я тебе старший лейтенант! Я брат твой, до конца жизни, всей недожитой жизни моей.

Наверху опять движение, надо приготовиться к встрече. Сую раненому термос с остатками воды и возвращаюсь на свою позицию.

От грохота заложило уши. Будто издалека доносится:

— «Зея», «Зея». Я — «Сура», я — «Сура». Приём... «Зея», «Зея»...

Взрыв. Град осколков.

— Рус, сдавайся!

Ответная пальба, и всё сначала;

— «Зея», «Зея». Я — «Сура»...

Сура — название реки. Где она протекает, не помню. Голова отяжелела, поташнивает от дыма и лёгкой контузии.

Они опять лезут, и ствол автомата нагревается так, что видна пепельно-бордовая полоска. А может быть, это рябит в глазах от вспышек выстрелов.

Ещё две гранаты. Одна взрывается раньше, и волна отбрасывает вторую в сторону...

Я давно не чувствовал пальцев на правой ноге: застыли от холода. Теперь ноге тепло, от самого бедра до кончиков пальцев. В сапоге мокрая жара.

Оттягиваюсь дальше от входа, ближе к радисту.

Немцы затихли — больше штурмовать не решаются. Я бы на их месте давно приложил к перекрытию несколько толовых шашек. Очевидно, они это и делают.

Радист уже не зовёт «Зею», он медленно крутит лимб, ищет её.

— Вы партийный? — вдруг спрашивает он меня.— А я вот

не успел... И заявление приготовил. Одной рекомендации не доставало.

Я дам тебе рекомендацию в партию, хотя знаю тебя одни сутки и ни разу не слышал твоего имени. Не видел твоих глаз. Но я знаю тебя, как никто другой, и могу поручиться: ты — коммунист, сердцем, душой, всем существом своим. Ты не покинешь поста, не сдашься, будешь стоять насмерть, ты победишь!

Он снова зовёт её, далёкую «Зею». Потом начинает бредить:

— Я — «Сура»... «Сура»... «Сура»... Взглянуть бы на тебя... ещё разок взглянуть на тебя... Сура-а...

Осторожно прикасаюсь к его плечу. Нет, он не бредит.

— Я родился на Суре... Из Пензы я...

Вдруг он кричит, громко, восторженно:

— «Зея», «Зея»! Огонь на меня! — Он просит, молит, приказывает: — Огонь на меня! Огонь на меня! Огонь на меня!

* * *

Когда мне приходится бывать в Пензе, я подолгу брожу по улицам, вглядываюсь в лица прохожих — высоких мужчин, ищу фронтового побратима. Нас отправили тогда в разные госпитали, и я потерял его. Но он жив — уверен в этом. И где-то трудится: делает компрессоры или прядильные машины, дизели или часы. Не знаю, что именно, но по-настоящему, так же, как воевал. Он не может иначе.

Я обещал ему рекомендацию в партию. Безусловно, моего ручательства уже не требуется. Он давно коммунист. Но мне так нужно найти его!

«Сура», «Сура»! Отзовись!





БЫЧОК

Они возвращались домой. В Москву. Насовсем.

Последняя дорога — просто не верилось! Они так устали от бесконечных скитаний из одной деревни в другую, от избы к избе. За три года исходили, наверное, две области, не меньше. Летом идти весело, если налегке, конечно. Зимой перехватывают дыхание тихие уральские морозы. В воздухе сверкают, переливаясь, ледяные искорки; под настом чудится бездонная пустота: так гулко хрустят шаги. Но зимой легко перевозить на салазках вещи: узелок и тяжёлую швейную машину с облезлым фанерным колпаком.

Они жили то у одних, то у других людей, и мать обшивала хозяев и их соседей. Мать была «кочующим ателье». Родной дом остался далеко за лесами и реками с грохочущими мостами.

Варе особенно запомнились часовые, охранявшие мосты. В длинных шинелях, с огромными винтовками, в высоких шлемах — будёновках.

Когда Варя с матерью эвакуировалась, все говорили, что немцы уже под самой Москвой, и Варя думала, глядя на часовых: они стоят здесь, чтобы не дать врагу подвинуться дальше на восток и не пропустить на запад своих, потому что люди ведь могли не знать, что там уже оккупанты. И в самом деле, на восток увозили женщин, детей, стариков, а навстречу им мчались лишь теплушки с солдатами и вереницы цистерн.

Теперь, когда Варя с матерью сами ехали на запад в воинском эшелоне (а все поезда, которые двигались на запад, были военными, ибо всё, что они везли: танки, пушки, бензин, продовольствие, одежду,— всё шло фронту), теперь Варя уже не боялась фрицев. Красная Армия отогнала врага почти до самой Восточной Пруссии, и война, как уже всем было известно, должна была вот-вот кончиться. Тогда вернётся папа, а Оля...

С фронта прислали вырезку из газеты с Олиной фотографией и похоронную — «геройски погибла в боях за свободу и независимость Родины».

Потом их вызвали в военкомат и передали орден Славы с потёртой муаровой ленточкой и совсем новый орден Отечественной войны II степени. Матери сделалось плохо, а Варя бросилась к офицеру и стала умолять его отправить её на фронт мстить за сестру. Офицер неловко обнял Варю одной-единственной своей рукой и что-то долго и ласково говорил до тех пор, пока Варя не успокоилась. Но, уходя, она сказала:

— Всё равно уеду на фронт. Сама!

Возможно, она так и поступила бы, но после гибели Оли у матери сердце стало совсем плохое. Мать вдруг сразу состарилась, сгорбилась, под глазами в красных прожилках морщинылись тяжёлые отёки. Её никак нельзя было оставлять одну, тем более в чужих краях.

Мать заторопилась домой, в Москву, в свою квартиру, где родилась и выросла Оля и где остались Олины вещи и игрушки

ки. И от Москвы будет совсем недалеко до неизвестной печальной Тихвинки, места Олиной могилы.

Однорукому офицеру из военкомата удалось пристроить Варю и мать к эшелону, направлявшемуся через Москву на Белорусский фронт.

Сопровождающие «скотного эшелона» (вообще-то в эшелоне шли только семь вагонов со скотом) не очень охотно взяли с собой больную женщину и девчонку. Их поместили не в теплушке, где ехали сопровождающие, а в огромном вагоне, пульмане, со скотом, в загородке с тюками спрессованного сена. Они устроили себе гнездо и на ночь прикрывались поверх пальто распотрошённым сеном.

Стоял ноябрь, по утрам всё вокруг серебрилось инеем, и по краям одиноких луж стеклился тонкий ледок.

В вагоне было холодно и сыро, пахло навозом и аммиаком. Днём открывали оконный люк, и всё покрывалось угольной пылью.

На стоянках Варя бегала с жестяным чайником за кипятком. Кипяток и сухари — всё, что у них было. Каждый раз она ужасно боялась отстать от поезда, но самым страшным было — взбираться обратно в вагон навстречу живой рогатой стене. Мать с трудом отгоняла быков, принимала горячий чайник, и Варя, уцепившись за железную скобу, карабкалась наверх, пролезала под поперечиной и укрывалась в неприступной сенной крепости.

Сердце Вари долго ещё колотилось, и всё не хватало воздуха, а блестящие солёными маслинками глаза её никак не могли успокоиться и, вздрагивая, то широко открывались, то закрывались.

На каждой остановке старший сопровождающий команды Егоров, крикливый мужичок в зелёном ватнике и при нагоне в кирзовой кобуре, обходил вагоны. В пульман, где ехали Варя с матерью, он не залезал. Его голова в громадной заячьей шапке виднелась над полом вагона лишь до подбородка.

— Никто не издох? — кричал снизу Егоров, имея в виду, очевидно, рогатых. — Глядите мне! Фронту везём — не шутки! За каждую голову военный трибунал башку съмет!

И шёл дальше. Однажды, на третий день пути, задержался. — А самим-то есть чего жрать? Или тоже сеном пробавляетесь? — выкрикнул он и засмеялся, открыв маленькие зубы под низко опущенными дёснами.

Мать стала благодарить Егорова, утверждая, что они вовсе не голодны, дай только бог добраться домой.

На следующей остановке Егоров прислал буханку хлеба и котелок молока. Женщина, принеся еду, сказала:

— Слышь, мать, ты девчонку свою вечером к пятому пульману посылай. Коровы у нас там.

Но Варя так и не довелось сходить за молоком к пятому пульману. Назавтра поутру она отстала. Случилось это так.

Эшелон задержали на разъезде.

Варя помогла матери сдвинуть тяжеленную дверь, и в вагон сразу хлынул свежий морозный воздух, навстречу ему повалили редкие клубы пара.

Потом Варя открыла оконный люк и высунула голову.

Было часов восемь утра. Заиндедевские лохматые провода и фарфоровые чашечки на телеграфных столбах отсвечивали розовым, а поле, покрытое щетиной стерни и тоже заиндедевшее, было тускло-голубым. На горизонте синел лес.

— Хорошо как! — воскликнула Варя. Она посмотрела вдоль поезда и увидела Егорова. Варя тотчас отпрянула от окошка.

Егоров подошёл к вагону, ещё откатил дверь и прокричал, как обычно:

— Никто не издох? Смотрите мне! За каждую голову военный трибунал башку сымет!

И пошёл дальше, поминутно поправляя кирзовую кобуру с наганом.

Тут-то и стряслось несчастье.

Рослый бычок, лобастый, ровной рыжей масти, поддел головой поперечину и соскочил на насыпь. Ноги его разъехались, бычок соскользнул в кювет, но сразу же выбрался наверх и спокойнѐхонько побрёл по полю, выскивая среди жѐсткой стерни бледно-зелѐные травинки.

Не успела мать ахнуть, как Варя уже была внизу.

— Верёвку!—слабым голосом крикнула вдогонку мать и бросила через люк моток толстой верёвки.— Сейчас...

— Не надо, я сама,— испуганно перебила её Варя и побежала за бычком.

Бычок будто дразнил Варю. Он стоял совершенно неподвижно, следя за ней глазами, но стоило Вале приблизиться на вытянутую руку, как бычок, мотнув головой, отбежал дальше и опять останавливался как вкопанный.

Варя пыталась и настигнуть его прыжком, и верёвкой зацепить, и обойти сзади, чтобы погнать к поезду, однако рыжий бычок оказался куда хитрее и никак не поддавался на её уловки.

Варя чуть не плакала, но не от страха — от обиды и боли: она уже несколько раз падала, наколола руки и на коленях набила ссадины. То, что она рискует отстать, чего она так боялась каждый раз, когда бегала за кипятком, Вале сейчас и на ум не приходило.

Вдруг она услышала:

— Упустили таки скотину!

Варя обернулась. Егоров бежал к пульману, голося:

— Немедля выкину с ишалону и — в трибунал!

В вырезе двери показалась мать.

— Варенька! — закричала она и опустилась на колени, чтобы слезть на землю.

Егоров бросился к Вале, но позади его лязгнули буфера.

— Варенька! Варя! — страшным голосом закричала мать.

Егоров мгновенно повернул назад. Он успел задержать мать и сам вскарабкался в вагон.

Мать билась в руках Егорова. Они что-то кричали, но слов разобрать было нельзя. А тут ещё дым от паровоза к земле прижало, и весь поезд скрылся за серыми и белыми клубами.

Когда дым рассеялся, вдали быстро катились всё дальше и дальше совсем уже маленькие вагончики.

Варя стояла одинокая и несчастная, и слёзы текли и текли по её лицу, оставляя на запорошённых угольной пылью щеках две извилистые дорожки.

Вдруг она ощутила лёгкий толчок. Рядом, виновато понурился

лобастую голову с едва обозначенными бугорками, стоял рыжий бычок. В сердцах она замахнулась на него, но бычок не сдвинулся с места. Варя, не переставая беззвучно плакать, несколько раз обмотала шею бычка верёвкой, завязала её, второй конец затянула петлей на руке и побрела к полотну железной дороги.

За лесом угадывался по дымящим заводским трубам город, но до него было не так близко, как могло показаться в начале пути. Солнце перевалило за полдень, иней давно растаял и испарился, когда Варя с бычком, изрядно поплутав среди многочисленных железнодорожных составов на товарной станции, добрались до пассажирского вокзала.

Варя уже не плакала, но светлые дорожки так и остались на щеках. Она с опаской и надеждой всматривалась в пожилых женщин с вещами, которых полным-полно было на перроне. Матери нигде не было. Её, наверное, высадили из эшелона и передали в военный трибунал. Ничего не оставалось, как идти туда же самой с проклятым рыжим бычком, виновником всех бед.

Варя принялась читать все надписи на табличках и указателях, но слов «Военный трибунал» не встретила.

Она толкалась со своим бычком в людской толпе, а вокруг раздавались и смех, и грубые окрики, и едкие шутки.

Её остановил солдат с красной повязкой на рукаве.

— Что за фигура? — спросил он грозно, но вдруг даже обрадовался, хотя и не смягчил строгого тона: — Полунина? Варвара?

— Да,— едва слышно вымолвила Варя, и внутри у неё всё сжалось.

— Следуйте за мной! — приказал солдат и повёл их в конец вокзала.

То, что солдат сказал «следуйте», а не просто «иди», окончательно подтвердило наихудшие подозрения.

Они пришли в большую, давно не белённую комнату. За деревянным барьером сидел, склонившись над столом, офицер в военной фуражке с красным верхом и с красными от бессонной ночи глазами.

— Разрешите доложить? — Солдат вытянулся в струнку, — Она самая и есть, товарищ старший лейтенант. Полунина Варвара. На перроне задержал, со скотиной причём.

Варя стояла ни жива ни мертва, а бычок почему-то стал рваться. Испугался, наверное, тоже.

— Придержи, Яковлев, — бросил старший лейтенант в красной фуражке и заговорил с Варей: — С эшелона сто сорок пять — семнадцать?

— Не знаю...

— Полунина Варвара?

— Да.

— Отстала на сто третьем разъезде?

— Не знаю...

— Не знаешь, что отстала?

— На каком разъезде, не знаю.

— Ясно. Так вот, эшелон твой отправлен в девять шестнадцать, не держали его, как видишь. Придётся догонять пассажирским. Только что у тебя за товарищ?

— Бычок.

— Вижу, что бычок. А откуда?

Или старший лейтенант притворялся, или он и в самом деле ничего не ведал, но только Варе становилось всё легче и легче, и она даже осмелела:

— Я из-за него отстала. Он из вагона убежал. Сам, честное слово! А Егоров сказал, что высадит нас с мамой и отдаст под военный трибунал.

Из соседней комнаты выглядывали солдаты, пожилые и молодые, как тот, что привёл Варю. Они с любопытством разглядывали высокую девушку — Варю на вид можно было дать сейчас лет пятнадцать, а то и шестнадцать, а не тринадцать, как было на самом деле, — и рыжего бычка на толстой пеньковой верёвке, конец которой стягивал руку с посиневшими пальцами.

— Посиди, — указал старший лейтенант на широкий диван с высокой спинкой, — сейчас что-нибудь придумаем.

Солдаты привязали бычка к батарее, и Варя присела на краешек дивана.

— Глаза видал какие? Ба-архатные! Прямо погладить хочется,— услышала Варя чей-то горячий шёпот и взглянула на бычка.

Глаза у него и впрямь были жалобными и бархатными, и Варя погладила рыжую шерсть на тяжело вздымающемся боку.

— Так вот, Варвара Полунина,— сказал старший лейтенант, оторвавшись, наконец, от бумаг,— отправим тебя пассажирским, часа через два догонишь своих.

Варя благодарно закивала и стала отвязывать бычка.

— Напарника придётся оставить.

Варя инстинктивно прижала к себе лобастую голову:

— Нет! Нет-нет! Ему на фронт нужно. Егоров сказал...

— Ну что — Егоров? — устало улыбнулся старший лейтенант.— Егоров заявил, что отстала девчонка, Полунина Варвара.

— А бычок? — растерялась Варя.— За каждую голову...

— Знаем, слышали уже,— насупился старший лейтенант и снова погрузился в свои бумаги.

— Ладно,—сказал он погодя,— попробуем товарным. Яковлев!

— Я вас слушаю!

— На шестом порожняк стоит, пристрой. Скажи: дежурный комендант велел. Только поторапливайтесь, сейчас отправляется.

— Есть! — гаркнул Яковлев и бросился в другую комнату. Он сразу возвратился, припрятывая что-то за бортом шинели.

Они бежали втроем: солдат, Варя и рыжий бычок посерединке, прыгая через отполированные рельсы, огибая пассажирские и товарные поезда, пока не добрались, наконец, до состава грузовых платформ и нефтеналивных цистерн.

Из-под зелёного вагона вынырнул человек в железнодорожной форме и в овчинном тулупе нараспашку, в руках он держал небольшой сундучок и фонарь.

— Главный! — уверенно обратился к нему Яковлев и стал объяснять, в чём дело.

— Замёрзнет она,— сказал главный.

— Мне только своих догнать! — дрогнувшим голосом взмолилась Варя.— Маму...

— Серьёзное дело, папаша,— веско подчеркнул Яковлев,— для фронта.

— Разве что на тормозную площадку,— ещё сомневаясь, предложил главный.

— Пошли!—Яковлев, даже не поблагодарив главного, рванул бычка за верёвку.

Лучше тормозной площадки, наверное, ничего нельзя было придумать.

Варя ухватилась за холодные железные поручни и взобралась на первую, самую нижнюю ступеньку. Дальше не пустила верёвка, привязанная к руке.

— Погоди,— сказал главный.— Его раньше надо.

Варя спрыгнула, и они вместе стали подталкивать бычка, задирая его передние ноги на подножку. Бычок, и так тяжелошций, как назло, заупрявился.

— У-у, скотина несознательная! — разозлился Яковлев.

Откуда-то появился солдат с прокуренными усами. Он, видно, бежал всю дорогу, потому что едва выдохнул:

— От товарища... старшего... лейтенанта... — и протянул Варе красивую коробочку, похожую на консервы, но не круглую, а прямоугольную.

— Связать... надо,— добавил он, оценив обстановку.

Бычку спутали ноги — верёвка, к счастью, была длинной — и втащили наверх.

— Закройся! — крикнул снизу главный и заторопился в хвост поезда.

Яковлев показал Варе, как запирать двери. Дальнюю он закрыл сам.

— Ну сот,— вздохнул Яковлев и, вытащив из-за борта шинели горбушку ржаного хлеба с вдавленным в мякиш куском белого рафинада, подал Варе.— Счастливо, Варвара. Меня, между прочим, Яшей зовут. Яков Яковлев. Вот.

— Спасибо вам, Яков Яковлев,— всё ещё дрожа от напряжения, сказала Варя, не зная, что нужно сказать ещё.

Поезд дёрнулся, а Яковлев всё не уходил.

— Отстанете! — испугалась Варя. Она хотела сказать — «уедете», но вышло — «отстанете».

Яковлев, будто очнувшись, махнул рукой. Когда он соскочил, Варя прикрыла дверь с маленьким квадратным окошком и заперла её.

Поезд быстро набрал скорость, и в щели задуло. Бычок, связанный, лежал, вытянув короткую шею. Он тоскливо замычал, глядя на Варю тёмным глазом, с белым, чуть синеватым белком.

— Ешь,—сказала Варя и отломилла бычку половину хлебной пайки. Тут она вспомнила, что и сама не ела с утра. Сахар наполовину подмок и был немного кислым; бычок тоже получил свою долю.

Покончив с хлебом и сахаром, Варя принялась разглядывать диковинные консервы. Прямо на жести была нарисована розовая колбаса и написаны какие-то слова по-английски. Прочсть она прочла, но перевести не сумела: они ещё не проходили в школе таких слов. К баночке был припаян маленький ключик. Для чего, Варя не поняла, да сейчас она и не хотела уже ничего — только спать. Она свернулась клубочком у самой двери, подняв воротник и втянув в плечи непокрытую голову.

Она проснулась, когда было совсем темно. Кто-то стучал в дверь. Варя со сна не сразу признала главного.

— Не замёрзла? — спросил главный и подал ей две холодные варёные картошки.— К скотине ближе держись, потеплее будет.

Варя поделила картошку на двоих и, всё ещё сонная, улеглась на связанные ноги бычка. Бычок, видимо, ничего не имел против.

Так прошла ночь. На рассвете поезд затормозил на какой-то большой станции. Варя высматривала в окошко и вдруг увидела свои родные пульманы и самого Егорова.

Варя хотела окликнуть его, но не знала, как обратиться, и только закричала:

— А-а-а!

Егоров, конечно, не услышал, даже головы не повернул.

Варя, торопясь, открыла дверь, потом снова притворила и стала распутывать бычка. Руки озябли, и толстая верёвка никак не поддавалась. Всё же ей удалось справиться и повязать верёвкой шею бычка. Второй конец, как и прежде, она закрепила на своей руке.

Как только поезд остановился, Варя потащила бычка, но он упёрся копытами — и ни в какуюю.

— Ну пойдём же, скорее! — почти плача, умоляла Варя, но бычок не мог в этот раз решиться на прыжок. Варя хотела позвать на помощь, но теперь её отделял от своего эшелона товарный состав.

В отчаянии Варя прыгнула вниз, рискуя расшибиться или повиснуть на верёвке. Бычок полетел вслед за ней и чуть не придавил её.

Товарному составу не было видно конца: пока обойдёшь его, и эшелон уйдёт. И Варя полезла под вагон. Бычок сразу уткнулся в какую-то трубу и застрял. Как Варя ни дёргала за верёвку, как ни понукала, ни звала бычка, ничего не получалось. Она выглянула из-под вагона и прямо перед собой снова увидела Егорова.

— Дяденька! — закричала Варя. — Дяденька Егоров!

Егоров не сразу понял, откуда его зовут, но, увидев Варю, ахнул. Он подбежал к вагону и подал ей руку, голоса, как женщина!

— Ах ты ж дурёха, дурёха! Нешто можно так?

— Ему помогите, — изнемогая, попросила Варя, и Егоров ещё пуще изумился, разглядев за вагоном рыжего бычка.

— Ах ты ж! Да бог бы с ней, со скотиной! — Егоров не умолкал, не забывая, впрочем, поправлять через каждые три шага свой наган в кирзовую кобуре.

Беглеца водворили в пульман, а Варю Егоров повёл к теплушке, потому что мать со вчерашнего дня ехала там вместе с сопровождающими.

Увидев Варю, мать вскрикнула, схватилась за сердце и потеряла сознание. Варя целовала ей руки, лицо, плакала:

— Mamочка, не надо. Не надо, мамочка. Не надо!

Потом Варя, прижавшись к матери, уплетала домашние

картофельные пирожки, прихлёбывая из котелка тёплое пенистое молоко. А Егоров всё ещё никак не мог успокоиться:

— Да бог бы с ней, со скотиной! Нешто можно так? Дурёха ты, дурёха! Всех нас до смерти всполошила и мать вон до чего довела. Чего ж ты жрала-то?

— Хлеб,— с трудом ответила Варя. Она проглотила остатки пирожка, блеснув солёными маслинками глаз, и добавила:— Картошку...

Тут она вспомнила о диковинной банке с красивой картинкой и вытащила её из кармана:

— А у меня ещё вот что есть!





С А П Е Р

Время было раннее, шёл дождь, и в летнем павильоне станционного буфета посетители занимали только три столика. За одним из них сидел мужчина лет сорока. Он сидел наклонившись, лишь изредка бросая взгляд на море. Оно простиралось рядом, за полотном железной дороги. На фоне вспененного моря резко белела скамья с прилипшей к сиденью газетой.

Подле мужчины сидела овчарка, рыжая, с белыми пятнами на груди и лапах; треугольники ушей обвисли, как лацканы старого пиджака. Крупная голова овчарки прижималась к коленям хозяина, и вся овчарка была устремлена к нему, явно истосковавшаяся по ласке. При каждом прикосновении жилистой, покрытой светлым пушком руки овчарка подавалась вперёд, стараясь продлить приятное мгновение, и хвост её от удовольствия плавно стелился по полу из стороны в сторону.

Шерсть на боках овчарки свалаялась, на спине лоснились тёмные мокрые пятна. Кожаный потрескавшийся ошейник вытер и примял широким кольцом светлый ворс.

Мужчина поднял голову. В глазах, тёмных, редких для веснучатого лица, светилась нежность. Рука продолжала мягко поглаживать шерсть на загривке овчарки, и я расслышал несколько раз тихо произнесённое слово: «Сапёр».

Подошёл официант. Поставил передо мной бутылку пива. Мужчине принесли рюмку водки, бутерброд с кетовой икрой и глубокую тарелку с мясным блюдом.

— Вообще-то не полагается,—вполголоса сказал официант, но в тоне его не было ни упрёка, ни недовольства. Он выговаривал просто так, для формы.— Да и ни к чему, Виктор Иванович,— добавил официант, наклонив седую голову.— Балуете вы его.

— Воскресенье,— отозвался мужчина.— Выходной день.

Белая молния полоснула изломанной стрелой и мертвенной вспышкой выбелила всё вокруг. Овчарка теснее прижалась к хозяину. Раскатистой канонадой обрушился гром.

— За посуду уплачу,— сказал мужчина.

Официант ничего не ответил и шаркающей походкой удалился к буфетной стойке.

Мужчина поставил на пол тарелку с мясом и тихо произнёс:

— Кушай, Сапёр!

Это прозвучало не приказом, не разрешением, а просьбой. Еда была угощением.

Овчарка, благодарно взглянув на хозяина, принялась не спеша есть. Хозяин, подперев щёку, смотрел на овчарку. Морщины на его крутом, обожжённом загаром лбу разгладились и белели, как шрамы.

Время от времени овчарка отрывалась от еды и поглядывала вверх, как-то странно наклоняя голову набок.

— Кушай, Сапёр, кушай,— приговаривал хозяин. Сам он не притронулся ни к чему и только курил.

Дождь затих так же внезапно, как и начался, серая бахрома его быстро отступала в море. Снова блеснула молния, но

уже далеко, и звуки грома долетели отголоском дальних взрывов.

Грозовая туча уходила всё дальше и, уплотняясь, будто упершись в горизонт, густой фиолетовой массой залегла вдали.

Мужчина разломил бутерброд, меньшую часть съел сам, а большую протянул на ладони овчарке:

— Кушай, Сапёр, кушай.

Приблизился официант, издали наблюдавший всю сцену, и молча положил на стол счёт. Мужчина подал деньги и направился, заметно прихрамывая, к выходу. Овчарка последовала за ним. Она была рослой, почти по пояс хозяину, с могучими, крепкими лапами и большой красивой головой. Правый глаз её был закрыт. Мужчина с овчаркой свернули за угол и скрылись из виду.

Что-то необычное было в этой странной паре.

— Откуда у собаки такое имя — «Сапёр»? — заговорил я с официантом. Судя по всему, он знал многое о мужчине с овчаркой.

Глаза пожилого, немало повидавшего человека внимательно посмотрели на меня.

— Вы не ослышались. Сапёром зовут.— Это всё, что он сказал мне. Тогда.

Через несколько дней я покидал станцию Залив. Обычно на запад отсюда уезжали через Владивосток, но я решил садиться в Заливе, на проходящий.

На станцию я пришёл загодя и спустился к морю. Там на одинокой скамье я и встретился вновь с пожилым официантом Ефимом Михайловичем Аплачкиным.

Низко над морем ярко блестела Венера. Мерцающее дымчатое отражение её пересекало гладь залива, как дорога. Аплачкин смотрел на эту звёздную дорогу, когда я присел рядом и поздоровался. Не поворачивая головы, он молча кивнул в ответ. От папиросы отказался, а когда я прикуривал, взглянул на меня и узнал.

— Это вы тогда о собаке спрашивали? Сапёром зовут, Сапёром,— сказал он, будто продолжая только что прерванный

разговор.— А хозяйина её — Чемерисом, Виктором Ивановичем Чемерисом. Из военного санатория он.

* * *

Виктор Иванович Чемерис работал в санатории начальником квартироэксплуатационного отделения. Должность соответствовала его профессии. Чемерис окончил строительный техникум, в войну был сапёром. На фронте Чемерис и повстречал рыжую овчарку. Впрочем, сперва она была грязным рыжим кутёнком, отбившимся от матери и хозяев. Солдаты сапёрной роты нашли его в развалинах дома в Сталинграде. Щенка отнесли в овраг, к кухне, накормили, приласкали, и он так и прижился в роте.

Долгое время солдаты называли щенка как кому вздумается. Безымянный пёс, заслышав перезвон котелков, стремглав бросался к кухне, усаживался в сторонке и терпеливо ждал, пока растает весёлая очередь и повар вывалит на какую-нибудь дощечку или просто в снег добрую порцию пшённой каши с мясными консервами.

Однажды в обеденный час пришёл командир взвода лейтенант Чемерис, высокий, плечистый, с рыжеватым чубом, выпиравшим из-под серой ушанки.

Ремень со звёздной латунной пряжкой перетягивал зелёный ватный костюм, сбоку плотно прилегал пистолет в коричневой кобуре.

— А этого сапёра почему не кормят? — весело спросил Чемерис.

Все рассмеялись и принялись наперебой звать пушистого щенка: «Сапёр, давай в очередь», «Тащи котелок, Сапёр!»

— Где его посудина? — обратился Чемерис к повару.

Аплачкин развёл руками:

— Нету. Да и не полагается, не полагается возить при кухне собачью миску.

— Не полагается? Ну что ж, сам буду носить,—сказал Чемерис и поставил перед чёрным влажным носом овчарки свой круглый котелок.— Кушай, Сапёр!

С той поры за собакой и закрепилась кличка «Сапёр», а лейтенант Чемерис стал её признанным хозяином.

Сапёр ходил за Чемерисом повсюду, спал в его землянке и вместо ординарца выполнял мелкие поручения: подавал сапоги, которые Чемерис по укоренившейся привычке сбрасывал с ног в разные стороны, носил газеты, а потом и письма. Стоило в расположении роты появиться почтальону, как Сапёр низкой, стелющейся рысью бросался к нему навстречу и, нетерпеливо поводя вытянутой мордой, ждал письма для своего хозяина. Почтальон, требовавший от счастливых адресатов: «А ну, дай-но кусочек самодеятельности!» — заставлял и Сапёра отрывать от земли передние лапы, когда на имя лейтенанта Чемериса приходило письмо.

Чемерис уже командовал ротой, когда Сапёр стал всё реже и реже приносить белые конверты. Что уж там случилось в тылу—неизвестно, но переписка и вовсе оборвалась. Напрасно огромная рыжая овчарка с белыми пятнами на груди и лапах вытягивала своё сухое мускулистое тело, просяще и тоскливо заглядывая в лицо почтальону.

— Нэма капитану, Сапёр, нэма ничего,— печально говорил почтальон.

И Сапёр, опустив пушистый, чуть изогнутый хвост, возвращался ни с чем и молча укладывался у ног хозяина.

— Забыли нас, Сапёр, а? — спрашивал Чемерис и, размеренно поглаживая крупную голову овчарки, приговаривал:— Ничего, Сапёр, будет и на нашей улице праздник.

Но, видимо, капитан Чемерис и сам не верил в свои слова.

И всё же праздник наступил, но лишь для Сапёра. Это произошло зимой, в феврале, в районе Витебска. Рота Чемериса восстанавливала повреждённое артиллерийским обстрелом минное поле перед нашим передним краем. Дивизия занимала оборону в небольшом районе, прозванном солдатами чёртовым мешком. День и ночь среди голых, изрытых окопами высот и в топкой низине с поредевшей, иссечённой и изрубленной рошцей рвались снаряды и тяжёлые мины.

Капитан Чемерис с солдатами работал на нейтральной по-

лосе. Сапёр, по обыкновению, ожидал своего хозяина в первой траншее, примостившись рядом с наблюдателем, солдатом Расторгуевым. (Расторгуев страдал ревматизмом и не мог ходить на задания.)

В четыре часа утра пришёл повар ефрейтор Аплачкин. Он и в окопе держал себя, как некогда у раскалённой плиты,— откинув назад поднятую голову. Аплачкин сбросил с плеч термос с горячим чаем и, тяжело отдуваясь, стал свёртывать цигарку.

— Почта так и не приходила? — спросил Расторгуев.

— Принёс, — ответил, придыхая, Аплачкин и достал из-за пазухи тощую пачку конвертов.

Овчарка подняла голову и уставилась на Аплачкина.

— Есть, — успокоил тот. — И капитану нашему, Чемерису, есть.

Услышав знакомое имя, Сапёр нетерпеливо толкнул носом в грудь сидевшего на корточках Аплачкина. Тот опрокинулся на спину.

— Обалдел, что ли? — разозлился Аплачкин

Но Сапёр продолжал наступать молча, без единого звука, только обнажив острые клыки. Хвост поднялся и загнулся кверху.

— Будь ты неладен... — выругался Аплачкин и, перебрав пачку, протянул письмо.

Сапёр мягко схватил конверт и лёгким прыжком вскочил на бруствер.

— Куда! — опомнился Аплачкин, но Сапёр уже исчез в темноте.

— Эх, Ефим Михайлович, — в сердцах сказал Расторгуев, — загубили вы Сапёра, подорвётся он. Мин тут, наших и германских, как пшена в вашем рататуте.

Но Сапёр, продвигаясь по следу хозяина, благополучно миновал все опасности. Там, где след превращался в сплошную борозду, Сапёр прижимался и полз.

Чемериса неожиданно ударили по ноге, и он оглянулся. Позади темнела огромная голова с острыми ушами. Два мерцающих глаза и что-то белое, плоское. Чемерис сразу понял, в

чём дело, и, притянув к себе голову овчарки, шепнул в самое ухо:

— Дай.

Чемерис на ощупь убедился, что в руках у него толстое письмо, и спрятал его через отворот полушубка в гимнастёрку. «Дорогой ты мой Сапёр! — ласково подумал Чемерис.— Спасибо тебе». И жестом приказал: «Назад, место!»

— Ползёт кто-то,— предупредил Расторгуев.

Аплачкин встал рядом и тоже всмотрелся в темень. Наконец и он разглядел что-то чёрное, быстро выраставшее на светлом снежном настиле. Вот вспыхнули и снова погасли два огонька. «Сапёр!» — облегчённо вздохнули оба солдата. Через минуту Сапёр сидел рядом, высунув трепещущий язык.

— Вот сукин сын! — беззлобно выругал Сапёра Аплачкин и погладил жёсткую шерсть на холке.

Овчарка, чувствуя недавнюю вину, разрешила приласкать себя, затем улеглась и зажмурила глаза.

Прошло с полчаса, когда Сапёр вдруг встрепенулся и завил хвостом.

— Наши идут,— уверенно сказал Расторгуев.

...Самодельная, жестяная кружка из консервной банки давно перестала дымиться в ногах капитана Чемериса, а он, привалившись к мёрзлой глине окопа, прикрыв полый измазанного полушубка жёлтый свет фонарика, всё читал и перечитывал длинное, самое длинное за всю войну письмо.

Сапёр преданно и довольно следил за хозяином, ожидая заслуженной благодарности. Он несколько раз тронул лапой сапог, пока Чемерис не обратил на него внимание.

— Хорошо, Сапёр. Хорошо...

И Чемерис погладил массивную голову Сапёра.

...Оттаяли мёрзлые комки на брустверах траншей, отшумели под солдатскими сапогами весенние потоки, высохли раздавленные гусеницами и колёсами фронтные дороги. Остались позади белорусские леса и болота, отпылили литовские тракты. И снова наступила зима, но уже прусская: тёплая и мокрая.

Гитлеровцы держались за свои фамильные фольварки, остроконечные кирхи и охотничьи уголья. Они опоясались многопольными рядами колючей проволоки и густо засеянными минными полями.

Рота капитана Чемериса получила приказ сделать несколько проходов во всю глубину нейтральной полосы — от своих траншей к немецким.

За час до полуночи сапёры один за другим перевалились через бруствер и бесшумно поползли вперёд. Ушёл с ними и Чемерис. Сапёр остался в траншее, чутко прислушиваясь к фронтовой ночи.

То и дело взлетали ракеты, проплывали изогнутые трассы разноцветных угольков пулемётных очередей, выли и с треском лопались мины.

Сапёр лежал спокойна, лишь жмурил глаза при каждой вспышке осветительных ракет-фонарей. Покачиваясь на тонких стропах парашютиков, они опускались вниз, искрящиеся, ослепительно белые, волоча за собой редкие голубоватые хвосты дыма.

Вдруг ракеты стали взлетать чаще, в небе сразу повисло десятка два ярких фонарей. Сотрясая воздух, гулко забили крупнокалиберные пулемёты, рванулись автоматные очереди. Натужный вой мин слился с жаханьем и грохотом разрывов.

— Накрыли,— прошептал Расторгуев.— Эх, напасть какая!

Последние слова он прокричал. Таиться уже не было смысла: для прикрытия сапёров ударили наши орудия.

Овчарка заволновалась, будто почувяв беду.

В разных местах в траншею скатывались солдаты, переводя дух, отчаянно ругались и, роняя зёрна махорки, свёртывали огромные сигарки.

Осторожно на руки товарищей спустили раненых. Когда собрались почти все, кто-то спросил:

— А капитан где?

Чемериса не было, не возвратились с ним ещё четверо.

Трое солдат, не сговариваясь, аккуратно пригасили самокрутки и уползли на помощь. Один из них не вернулся, двое,

помогая друг другу, в изорванных, вспоротых осколками полубубках, дотянулись до окопов, но перевалить через бруствер уже не смогли: не хватило сил.

— Эх, напасть какая! — сокрушённо повторил Расторгуев и, кряхтя, полез наверх.

Когда прошло полчаса, все поняли, что ждать Расторгуева нечего.

— Придётся пересидеть, — тихо произнёс черноусый сержант.

Постепенно пальба затихла; всё реже вспыхивали ракеты. Новая спасательная группа изготовилась к вылазке, когда слышались странные звуки, будто волоком тащили нелёгкий груз.

— Сапёр!

Сапёр всё ближе подтаскивал грузное тело капитана Чемериса, уцепившись за ворот его телогрейки. Солдаты бросились на подмогу. Чемериса уложили на дне окопа.

— «Сюрприз», — прошептал кто-то.

Все тотчас взглянули на ноги капитана. Правая вместе с сапогом была срезана у щиколотки противопехотной миной с праздничным названием: «Сюрприз».

Чемерис, не открывая глаз, сдавленным голосом позвал:

— Сапёр.

Лишь теперь все обратили внимание на исчезновение овчарки.

— Сапёр, — снова позвал Чемерис. Лицо его, серое, в копоты, выражало странное спокойствие.

— Придёт сейчас, — отвлекая, сказал фельдшер, осматривавший капитана.

Затылок раненого был в липких сгустках. Фельдшер озабоченно нахмурился. Санитар подал тампон, и фельдшер осторожно, поглядывая в лицо Чемериса, стал отирать кровь. Солдаты напряжённо следили за рукой фельдшера. Вдруг губы его дрогнули, и он облегчённо вздохнул: то была чужая кровь.

— Шапку, — бросил фельдшер.

К нему сразу протянулось несколько рук с ушанками, но фельдшер надел на Чемериса свою шапку, будто командовал

лично себе. После этого фельдшер принялся обрабатывать искалеченную ногу. Голенище он разрезал и отбросил в сторону, прямо к ногам черноусого сержанта. Тот отодвинулся, чтобы ненароком не наступить, будто это была не кирза, а человеческая кожа.

— Сапёр,— опять позвал Чемерис и открыл глаза.

И, словно лишь сейчас услышав зов, сверху обрушилось гибкое могучее тело овчарки. Она раздвинула столпившихся солдат и уселась рядом с Чемерисом. И все одновременно увидели в крепких челюстях кирзовый опорок с застывшим в нём оранжево-красным месивом.

Сапёр принёс это, как обычно приносил хозяину его сапоги.

Никто не решился скомандовать: «Дай!» На это имел право только капитан Чемерис, хотя то, что принёс Сапёр, уже не принадлежало ему.

— Дай,— без всякого выражения произнёс Чемерис.

Опорок мягко упал на землю.

— Перевяжите его,— тихо потребовал Чемерис.

На месте правого глаза Сапёра чернела запёкшаяся рана.

Закончив бинтовать ногу, фельдшер коротко бросил санитару:

— Носилки.

— Перевяжите его,— твёрдо повторил Чемерис, он уже не закрывал глаза и не жмурил их. Боль замерла, чтобы потом, позднее, терзать ослабевшее тело.

Фельдшер взглянул на Чемериса и молча стал обследовать овчарку. Она вдруг сделалась послушной, как тяжело больной ребёнок, и тихо заскулила.

Двое солдат подняли носилки с раненым и двинулись по узкому извилистому проходу. Сапёр непривычно наклонил забинтованную голову и неотступно шёл за ними. Никто не пытался удержать его.

Когда уже в медсанбате капитана Чемериса вносили в санитарную машину, врач в белом халате с туго закатанными по локти рукавами притопнул ногой:

— Пшёл вон!

Но Сапёр, не обратив на это никакого внимания, впрыгнул

в кузов «санитарки» и уселся рядом с носилками. Его пытались выгнать, но ощетилившаяся огромная овчарка с забинтованным глазом выглядела столь грозно, что дотронуться до неё было страшно, а крики не оказывали никакого воздействия.

— Принесите-ка палку! — распорядился врач.

Но в это время раздался предостерегающий крик:

— Воздух!

В небе угрожающе заныли «хейнкели».

— Ну вас! — нетерпеливо засуетился шофёр.— Едем или нет?

Врач, сдавшись, махнул рукой:

— Чёрт с ней, в госпитале отделаются.

Но в госпитале от Сапёра не отделались.

Чемерис, очнувшись после операции от наркоза, позвал овчарку. Он не успокоился, пока её не впустили к нему. Сапёра предварительно искупали и сменили повязку. Он терпеливо вынес процедуры, инстинктивно чувствуя, что иначе его не допустят к хозяину.

Так они и лечились вместе в одном госпитале, капитан Чемерис и овчарка Сапёр.

Сапёр поправился после ранения быстро, но долго не мог привыкнуть смотреть на мир только одним глазом. Постепенно он освоился со своим положением и с новыми, отличными от фронтовой жизни условиями. Сапёр стал заметно общительнее и добрее, особенно к людям в белых халатах, но навсегда сохранил неприязнь к белым закатанным рукавам. Его знали и любили во всём госпитале, баловали лакомыми кусочками, играли с ним. Сапёр возился с удовольствием, но ни за что не выполнял команды: «Взять!» Однажды у него на виду бросили колбасу: «Сапёр, взять!» Но Сапёр улёгся на траву, положил голову между вытянутых лап и тихонько, тоскливо завыл, вспомнив что-то далёкое-далёкое...

Из госпиталя Чемерис выписался спустя два месяца после войны. Он долго не мог решить, куда ехать, а тут подоспело письмо от бывшего ротного кашевара Ефима Михайловича Аплачкина. Он демобилизовался и вернулся к себе на маленькую станцию неподалёку от Владивостока.

* * *

— ...Я в ту пору демобилизовался уже, подчистую ушёл.— Мой собеседник сожалеюще вздохнул.— Домик у меня тут. Вдвоём с женой, одни мы. Сынок в Силезии навечно полёг. Не приходилось в тех краях бывать?.. И мне вот тоже... Простите, величать вас как по имени и отчеству?

Я назвался, но Аплачкин, как и прежде, обращался ко мне безлично.

— Ну вот. Уговорил я капитана. Выдали ему документы до станции Залив, Приморской железной дороги. И на Сапёра выдали. От сопровождающей сестры капитан отказался, а за счёт этого, значит, выпросил литер на «служебную собаку-санитара породы восточноевропейская овчарка, по кличке «Сапёр». Сперва у меня жили, потом капитан свою квартиру получил.

Из-за каменистого мыса нарастал шум поезда. Пора было собираться.

— И поныне живут они вместе, капитан с Сапёром?

— А кто ж их разлучит?





ДОМ У МОСТА

Поезд был пассажирский, обычный, не экспресс, не курьерский, даже не скорый. Но мне казалось, что я ещё никогда не мчался с такой головокружительной быстротой три года в сутки. Вязьма, Смоленск, Минск... 1942, 43, 44... Три года пробивались мы с боями по пути, который теперь поезд запросто преодолел за ночь и день.

На рассвете посыпал дождь. Косые трассы захлестнули широкое вагонное окно. За мутной завесой терялись позади поникшие деревья. Потом отстал и дождь, но я всё равно ничего не узнавал. Очевидно, следовало повесить через плечо планшетку с фронтовыми картами и вновь пройти по этим дорогам пешком, как тогда.

Я досадовал, что так быстро сменяются холмы и перелески,

деревни и овраги — немые свидетели былого, и одновременно не терпелось скорее добраться до Н,— цели моей поездки.

Это было не просто желанием. Надо мной семнадцать лет довлел неисполненный долг. Я был обязан вновь прийти туда, в город, где сражался пять дней и шесть ночей.

Мы ворвались в него ночью, штурмом. Когда захватили дом у моста, в нашей группе оставалось ещё шестеро: Сашок Иванов, Гусев Николай, Кадыров, сержант Ерёмкин, Швецов и я. Обрато меня вынесли на руках, вывезли на санитарной повозке. Но этого я уже не видел и не мог помнить. Только дом у моста. И мост, по которому не смел пройти ни один фашист.

Мы стояли пять дней и шесть ночей. И мост был чужим для немцев пять дней и пять ночей, пока не подошли наши.

Я ехал, чтобы найти тот дом у моста. Дорогой я был спокоен. Даже в Вязьме, где наш эшелон когда-то зверски бомбили «юнкерсь», даже в конце пути, когда проводница возвратила билет: «Путешествие окончено». Но едва лишь поезд стал замедлять ход, волнение охватило меня, и я бросился в тамбур. Я хотел первым из пассажиров ступить на землю этого города, непременно первым, как тогда, в сорок четвёртом, семнадцать лет назад.

Я шёл по городу, шёл, ничего не узнавая, будто попал сюда впервые. Тогда, семнадцать лет назад, я не знал названий улиц, не запоминал номера домов. Мост через овраг, по которому протекала ржавая река, мутный поток. И дом у моста, где мы бились в окружении. Я искал его, дом у моста, но никто не знал, где он. Все были поглощены своими делами, своими радостями, своими заботами: мужчина, парень в спортивном костюме, стайка ребятишек с удочками, молодая женщина с тонким красивым лицом. И другая женщина, с ворохом покупок. Она даже не дослушала меня — «ничего не знаю, приезжая я».

Я тоже ничего не знал, был приезжим и чужим, хотя здесь погибли мои верные товарищи, пролилась и моя кровь.

Я спрашивал офицера, строгого лейтенанта с красной повязкой патруля, и влюблённых, что встретились у фонтана в

круглом сквере. Им, наверное, показался странным человек, приехавший за тысячу километров с единственной целью взглянуть на какой-то трёхэтажный дом у моста.

В городе было много трёхэтажных домов, целые улицы, и прекрасные мосты через реку. Об этом поведали мне другие, и я сам видел их. Но ни один человек, к кому я обращался с расспросами, ничего не мог припомнить об овраге в городе, о доме напротив моста через овраг. Я уже стал терять надежду найти этот дом, и обида проникла в сердце.

Кому я нужен здесь, неизвестный приезжий, со своими воспоминаниями и домом у моста? Семнадцать лет, как окончилась война. Люди думают о будущем, а не о прошедшем. Нет, каждый искренне хотел помочь, но с большой охотой все говорили о настоящем. Я узнал, что здесь самая широкая площадь в Европе, самый красивый сквер в Советском Союзе и даже есть улица — самая короткая в мире. И обо всём этом сообщалось с чисто детской хвастливостью. А город и в самом деле был своеобразен и прекрасен. Порою я забывал о цели своего приезда и любопытствовал, как турист. В один из таких моментов здоровяк лет тридцати — тридцати пяти с открытым улыбчивым лицом вызвался быть моим гидом. У него был «отгул после запарки», и он с явным удовольствием водил меня по городу, показывая достопримечательности: новый кинотеатр из стекла и стали, уютный ботанический сад, огромный универсам с эскалатором. Мой спутник, вероятно, знал город лучше всякого штатного экскурсовода. Он обладал своеобразной памятью: какой и когда построен дом или восстановлен прежний, как родился новый сквер, казённый он или самодельный. Под самодельным подразумевалось — на общественных началах.

Он любил и знал город, который считал родным, хотя вырос где-то на Волге и приехал сюда после ремесленного училища в сорок шестом году. Он знал всё, что произошло в городе после сорок шестого. И когда у могилы Неизвестного солдата, где у подножия обелиска в бронзовой чаше горел вечный огонь, я спросил его о доме у моста, он впервые не сумел ответить. Он оглянулся вокруг в поисках помощи. Старик пенсионер чи-

тал на скамье газету. Мы присели рядом, и мой спутник начал разговор:

— Видать, старожил, папаша?

Старик опустил газетки, взглянув поверх очков, уклончиво согласился:

— Допустим, а что?

— Вот, товарищ дом ищет, трёхэтажный, напротив моста.

— А в каком районе?

— В каком районе? — будто переводчик, передал мне вопрос мой спутник.

Что я мог ответить?

— Чем же я могу вам помочь? В городе пять мостов через реку. Кстати, товарищ видел наш новый кинотеатр? А железнодорожный мост?

— Я ищу дом у моста через овраг,— уныло повторил я.

— Овраг... — Старик задумался.— Вы знаете, я что-то вспоминаю. Это, скорее всего, в районе заводского жилмассива. Товарищ не видел там новую школу?

— Ее построили за пятьдесят шесть дней,— оживился мой спутник.— Крупноблочная.

— Садитесь на автобус,— посоветовал старик.— Нет, лучше троллейбусом.

— Пятнадцатым, до конца,— подхватил мой спутник и оказал мне ещё одну услугу: проводил до остановки.

Мы расстались. Потом, покачиваясь в троллейбусе, я пожалел, что так и не спросил его имени. Незвестный прохожий. Два часа бродил он со мной, рассказывал, объяснял, а я так и не узнал, кто он и что. Впрочем, и я для него остался неизвестным, неизвестным приезжим.

Неизвестным... А сколько их, неизвестных, под вечным огнём на холме?

Неизвестный солдат. Для кого неизвестный? Ведь этот неизвестный и Сашок Иванов, и Гусев, Кадыров, Ерёмкин, Швецов, и наш гвардии лейтенант. Он был холостым, но и у него, и у троих из нас оставались матери, у Сашка — только невеста, родителей расстреляли фашисты в Одессе; сержанта Ерёмкина

ждали три сына, и у Швецова в Кургане росли девочки-близнецы. Я тоже едва не стал неизвестным солдатом.

Когда нас оставалось двое, я и смертельно раненный Сашок Иванов, пришлось отступить на чердак. Сашка я устроил у дымохода, а сам, перебегая от одного слухового окна к другому, продолжал вести огонь.

Приближалась шестая ночь боя. Дом был отрезан вторые сутки. Вышли патроны. Три гранаты и финки — вот и всё.

Сашок бредил, ему чудились море и порт, где он работал на буксире «Балаклава».

Временами Сашок, вдруг широко раскрыв невидящие глаза, тяжело придыхая, напевал. Может быть, он пел громко, не знаю: в ушах стоял нестерпимый звон. Наверное, от бессонных ночей и беспереывной пальбы или просто от контузии.

Немцы ещё раз попытались проникнуть на чердак, и у меня осталась только одна граната, последняя. Внезапно наступила тишина, потом заурчали моторы. К дому приближались два танка. Пять танков уже несколько дней мёртво чернели перед домом. Один из них подорвал сержант Ерёмкин. Сверху видно было его распластанное могучее тело в трёх шагах от обгорелой громадины с покосившейся башней.

Сашок запел о море и резко, без перехода, закончил словами из другой песни:

И никто не узнает, где могилка моя...

А её и не будет, а, Чалый?

Последнюю фразу он сказал ясно, отчётливо.

— Будет, Сашок! Узнают! — закричал я, чтобы самому услышать свои слова.

И тут мне пришла мысль оставить письмо, записку, рассказать, что здесь произошло. Но бумага могла попасть в руки врагов и погибнуть. Немцы должны были нагрянуть с минуты на минуту, а у нас на двоих оставалась одна граната.

Я подполз к Сашку и стал ждать, выглядывая из-за трубы. Финка лежала рядом, подле руки. И я стал выцарапывать остриём ножа на кирпичной кладке прощальные слова. Первым я вырезал фамилию «Иванов». Я начал высекать «Сашок»,

имя, которое знала вся дивизия, но времени было мало, возможно его не осталось уже вовсе.

Последней я начал свою фамилию, но за спиной ярко вспыхнул багровый всплеск, и сразу наступила ночь...

— Жилмассив. Конечная остановка! — звонко объявила курносая девушка с кожаной сумкой на груди.

Я был где-то рядом. Но куда идти, в какую сторону?

Очень молодой и очень серьёзный милиционер в белом кителе и щегольских сапожках после короткого раздумья бодро посоветовал:

— В справочное бюро надо, товарищ. Фамилия, имя, отчество, год и место рождения родственника, которого ищете. И получите адрес. В нашем городе это быстро. Порядочек полный.

— У меня нет здесь родственников,— устало объяснил я.— И знакомых нет.

Милиционер подозрительно окинул меня взглядом и, официально козырнув, сухо отрубил:

— Тогда ничем помочь не могу, гражданин.

Никто ничего не мог, никто ничего не знал.

Разбитый долгим блужданием, брёл я по улице с гордым названием: «Улица Шести Гвардейцев». Обелиск на могиле Неизвестного солдата. Улица шести неизвестных гвардейцев — вот всё, что напоминало о прошедшей войне. Нет, не усталость — горькая, невысказанная обида согнула плечи. Я присел на садовую скамью в открытом просторном дворе белого пятиэтажного дома.

На площадке шумно играли в волейбол. Матери катали в нарядных колясках нарядных малышей. Удары по мячу, свистки судейской сирены, гомон, смех, шелест троллейбуса, музыка из открытого окна — тысячи звуков окружали меня, но в голове стоял монотонный звенящий гул. Я прикрыл глаза.

— Не помешаем?

Не глядя, молча сдвинулся в сторону.

Кто-то уселся рядом и заговорил, неприятно громко, хрипло:

— Стало быть, не знаешь, брат, кто строил этот дом?

— Не-е,— отозвался мальчишеский голос.

— И давно он тут стоит? — допытывался хрипам.

— Всегда,— уверенно прозвучало в ответ.

— И ты в нём всегда живёшь?

Мальчик сказал веско и твёрдо:

— Всю жизнь.

— Всю жизнь,— повторил дрогнувшим голосом хрипам.— Так вот, брат, твой дом я строил. Вот этими руками из пепла возродил, как ту птицу финик!

Он сказал это гордо и торжественно. Даже хвастливо.

Меня покорило его бахвальство. Я открыл глаза. Рядом сидел мужчина в парусиновом костюме и белых текстильных туфлях, какие обычно носят южане. В двух шагах стоял мальчик лет шести и с достоинством и любопытством поддерживал беседу:

— Краном?

— Какие там краны в сорок пятом! — взмахнул короткими крепкими руками строитель.— Тут кругом знаешь что творилось, брат!

— Сашо-ок! — позвал девичий голосок.

Я невольно вздрогнул.

— Сашо-ок!

От дома шла девушка с острыми плечиками.

— Я здесь! — отозвался мальчик.

Девушка приблизилась к нам, сказала недовольно, с напускной строгостью:

— Ищи тебя по всему двору! Обедать пора.

Она взяла мальчика за руку, потом, почувствовав себя неловко, кивнула нам:

— Здравствуйте.

— Здравствуйте,— шумно отозвался строитель.— Сестрёнка, видать. А вот мы и её спросим: давно стоит ваш дом?

— Всегда.

— А вы сколько в нём живёте? — не хотел сдаваться строитель.

Девушка пожала острыми плечиками и, будто заранее сговорившись с братом, ответила:

— Всю жизнь.

Она сочла разговор исчерпанным и, извинившись, пошла, ещё раз передёрнув плечиками. Сашок, выдернув руку, убежал вперёд.

— «Всю жизнь»,— с горькой усмешкой повторил строитель.— Слыхали? Всю жизнь!..

Он замотал головой, как пьяный. Его разговорчивость раздражала меня.

— «Всю жизнь!» И никакого им дела, кто этот дом строил, из пепла возрождал, как ту птицу финик!

— Феникс,— не сдержавшись, поправил я, но он не обратил на это внимания.

— Коробка, разбитая коробка стояла. Шутка сказать: двадцать суток шёл бой, сражение за этот дом. Шестеро обороняли, а фашистов — видимо-невидимо! Напротив овраг был и мостик через него, так...

— Где... мост?

У меня перехватило дыхание.

— Давно нету,— равнодушно ответил строитель, продолжая горестно мотать головой.— Овраг ещё при мне засыпать начали. Вот, в командировку еду. И не утерпел. Сошёл с поезда. Захотелось посмотреть свой первый дом. Сколько я их построил за эти шестнадцать лет — видимо-невидимо! И здесь, и в Минске, и в Сибири. Но этот!..

От него пахло вином или пивом, но он не был пьян, лишь разговорчив нечувствителен.

— Но этот дом...— повторил он хриплым шёпотом.— Приехал, а никому дела до меня нет.

В нём говорило уязвлённое самолюбие безвестного создателя, неутолённая жажда признания былых заслуг. И я поймал себя на мысли, что он изливает мою собственную боль.

— Я понимаю, оркестр тут ни при чём и митинги разные. А вот,— он прижал к груди сильные руки,— хотелось, чтоб люди знали, хотя бы те, что в этом доме живут, знали, кто для них потрудился. А тут — нате пожалуйста: «Всегда стоял», «Всю жизнь».

Губы его дрогнули, и он умолк.

— А что, брат! — Он вдруг поднял голову, встрепенулся и

заглянул мне в лицо светлыми прояснившимися глазами. — А может, в том и есть самое главное? Вот я строил дом, не для себя ведь, не ради самоличной славы. Чтоб люди жили, детишек на свет рожали. Чтоб вот они, Сашок этот и сестрёнка его, и другие всегда тут бегали, всю жизнь! — Он и теперь обращался ко мне, но говорил для себя самого: — Вот оно — смысл в чём! Не памятник же мне у каждого дома ставить. Да я только на этой улице Шести Гвардейцев пять домов воздвиг! Что ж мне, доски мраморные везде привинчивать? — Он неожиданно крепко ухватил меня за руку и строго потребовал: — Но, брат, солдата, что кровь свою проливал, жизнь отдал, того не смей забывать! Когда строили этот дом, возрождали его, наткнулись на чердаке на надпись одну. Так мы те слова куском вырубили и заново в стену вмуровали. Навечно!

«Улица Шести Гвардейцев»... Да, нас было шестеро... Но почему двадцать суток? Мы бились пять дней и шесть ночей... Народная молва работала. Что ж, то были не простые дни и ночи...

Надпись на чердаке... Овраг... Мост...

— Где? Где это? — Я вскочил на ноги и закричал: — Где? Строитель невольно затих и показал рукой на торец дома. Я пошёл, побежал к дому.

Над высоким фундаментом был вмурован, составляя часть оцементированного серого, как гранит, цоколя, вырубок кирпичной кладки со словами, вырезанными остриём финского ножа:

Здесь стояли насмерть гвардейцы:

ИВАНОВ СА
ГУСЕВ Н.
КАДЫРОВ Х.
ЕРЕМКИН
ШВЕЦОВ
ЧАЛ

Бережно, едва касаясь, водил я пальцами по слабым бороздкам в красной обожжённой глине. Пальцы мелко дрожали, и я ничего не мог с этим поделать. В ушах стоял гул. И мне почудилось, что я услышал голос Сашка Иванова:

«И никто не узнает, где могилка моя»... А её и не будет, а Чалый?»

И свой ответ: «Будет, Сашок! Узнают!»

Почему я был так уверен в этом? Потому, что тяжело умирать неизвестным, даже неизвестным солдатом? Это так, конечно. Но не в этом главное.

За тысячу километров приехал я сюда, чтобы найти дом у моста, разбитый, иссечённый, продырявленный дом. Но разве я действительно хотел увидеть его разбитым? Зачем же тогда всё это было?

Нет-нет! Я и сам не признавался себе, что хочу видеть возрождённый дом, жилой, живой. И маленького Сашка, и его сестрёнку с острыми плечиками, и это «Всегда, всю жизнь!».



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
В серии «Книга за книгой» в 1966 году
вышли и выходят следующие книги:

Жуковская Е. ШКОЛА МЕНЯЕТ АДРЕС.

Рассказы о жизни ленинградцев в дни блокады, о том, как в условиях голода, лишения и потерь возникла кочующая школа

Квин Л. ЗАДАЧА С НЕЗАДАЧЕЙ.

Рассказы, в которых писатель знакомит советских ребят с жизнью, заботами и радостями их венгерских сверстников

Лоскутов М. РАССКАЗ О ГОВОРЯЩЕЙ СОБАКЕ.

Весёлые рассказы о знаменитом дрессировщике, иллюзионисте и фокуснике Отто Каррабелиусе

Радищев Л. ДЕЛЕГАТ С УРАЛА.

Рассказы о В. И. Ленине. Они относятся к первым годам становления молодого Советского государства

Эти книги по мере выхода их в свет можно приобрести в магазинах Книготорга и потребкооперации.

Книги высылаются также по почте наложенным платежом отделом "Книга — почтой" областных, краевых и республиканских книготоргов.

Д л я м л а д ш е г о ш к о л ь н о г о в о з р а с т а

Миксон Илья Львович

ОТЗОВИСЬ!

Рассказы

Ответственный редактор Л. Р. Баруздина. Художественный редактор Н. З. Левинская. Технический редактор Т. Д. Юрханова. Корректор Э. Н. Сизова. Подписано к печати с готовых диапозитивов 13-VIII 1966 г. формат 60x92¹/₁₆. Печ. л. 3. (Уч.-изд. л. 2,27). Тираж 300 000 экз. ТП 1966 № 187. На бум. № 2. Издательство «Детская литература». Москва, М. Черкасский пер., 1. фабрика «Детская книга» № 2 Росглаволиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Ленинград, 2-я Советская, 7. Заказ № 873.